

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ

ЧАЙКИ

Петр Алешковский
Чайки

«Автор»

1989

Алешковский П. М.

Чайки / П. М. Алешковский — «Автор», 1989

«Чайки» - это история двух родов, которая разворачивается на фоне криминального происшествия - кражи икон из церкви.

© Алешковский П. М., 1989

© Автор, 1989

Содержание

1	6
2	8
3	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Петр Алешковский

Чайки

Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
Мф, 10, 31

*Но не знает тревоги
Беспечная чаек душа.*
Ду Фу

*Одной из самых глубоких особенностей человека является
неискоренное стремление быть правым.*
Карл Барт

1

Ночь. Незаметно, незримо в пустой этот промежуток сматывают ниточку времени пер-вопрестольные апостолы, поворачивают строгое, северное лето на убыль – сегодня их день, им праздник. Беззвучные, шныряют над землей нетопыри с колокольни, кормятся в душном воздухе болотной мошкаррой.

Нехорошее это время, воровское, запретное...

Гонит где-то в Озере рыбацкие соймы к монастырскому холму уловистый Юг: упрямой дугой раздут носовой парус-работяга – тянет так, что и нужды нет выбирать брундук, ровнять кормы – кили вынуты, рули сняты, – сеть держит лодки на плаву, а лодки – сеть, и шмякается о волну смоленный борт, и натянет-отпустит, отпустит-натянет мокрую веревку-уриху, да обдаст перед собой дорогу тяжелый сосновый нос. Вода – свинец, небо – свинец, только лодки – черные, как два злых жука, и берегов не видно. Ловит сеть к рыбацкому празднику, а все, кому поутру дармовую уху есть, спят себе по домам.

Белой зовется июльская ночь, но белого в ней лишь спеленутая полиэтиленовой пленкой огуречная грядда да детские трусики на заборной штaketине. И чудится, и слышится в такой миг всякое старинное, и неведомая сила северной ночи обступает – необъятная и неодолимая.

Но вот откуда-то из-за бывшего скита, из-за теперешней турбазы, принесет ветер перестук дизелька землечерпалки, пробежит цепочкой во тьме огонек мигунов, и выплывает вдруг на реку сахарноголовый, туполобый толкач с баржой, и ударит в его недрах чугун, и по всей округе разлетится живой звук, и тишина уже обычна – ведь она теперь в Поозерье неотделима от этих звуков, как без суматошно стрекочущего девятирублевого будильника немислим тяжелый сон в поозерских домах.

Ползет время, от трех ползет к четырем, ползет медленно. Городские рыболовы на реке клюют носом, жмутся к костеркам – не до налимов сейчас, что стоят в омуте под дебаркадером, не до судаков, что подходят в теплой воде к берегу погреться-покормиться, – перекимарить бы этот часок, переждать, пересидеть бы...

И, словно напуганный нехорошей ночной порой, мчит по вымершему Старгороду случайный малиновый «икарус», возвращается в гараж из утомительного загородного туристского рейса. Четыре глаза-фонаря разматают мрак, и вот позади уже город, и его грузная, обезглавленная сторожевая башня, и цыганская слобода, и старое Петровское кладбище – «икарус» поворачивает на узкую монастырскую дамбу.

Днем машины идут тут осторожно, оберегая бока, но сейчас, обрамленная столетними липами, она пуста, и водитель гонит, не замечая плакучих деревьев, безмолвной глади колхозных карповников по бокам насыпи и притихшего Заповедника – музея деревянного зодчества.

Тихо кругом, и в Заповеднике тихо, около белого помещичьего особнячка – обкомовской спецгостиницы – не дежурят черные «Волги», а значит, коли отсутствуют высокие гости, то и сторожа спокойно спят в избушке у центрального входа и даже не потрудились спустить с цепи раскормленных экскурсантами собак.

Быть может, сворачивая к гаражу, водитель успел отметить эту тишину, быть может, успел по привычке взглянуть и на Николу, точнее, на Никольскую шатровую церковь – символ деревянного Поозерья, всегда отстоявшего от каменного города, особой волости, расстилающейся за большим Монастырем по берегу Озера, края сурового, мнящего себя всегда свободным, как высоченная луковка главного своего храма, теперь спасенного и поставленного за ограду почти на порубежье. Скорее всего, что и взглянул, не придавая особого значения: музей, со всеми его деревяшками, понапиханнными одна к одной на маленьком пятачке, не поозеров призван восхищать, а заезжих туристов.

А от поворота до гаража рукой подать – ткнул автобус на привычное место, махнул полусонному сторожу на проходной и пошел досыпать, исчез в проломе бетонного забора, покандевал в Слободку, домой.

Что же, выходит, никто и не заметил позднего его возвращения, никого не побеспокоил резкий свет его фар? Да и кому интересно, кроме как случайным влюбленным, смотреть на несущийся по дамбе автобус? Конечно, некому.

И все же нашлись две пары глаз, что, издали узрев рассеянный свет фар, поспешили спрятаться в глубь неприметного автомобильного кузова, привалившегося к дамбе, где-то посерединке между Монастырем и музеем деревянного зодчества. Лишь переждав досадную помеху, двое вышли в ночь и молча направились к Заповеднику, но шли не по дорожке, а крадучись пробирались вдоль косого забора, выискивая в нем дырку, проломленную ребятней.

2

Вовчик был не просто на взводе, все нутро его было напряжено, и если б не стакан, проглоченный наспех в фургончике, он, наверное, не сумел бы взять себя в руки. Но водка при- тушила нервное напряжение, и внешне, только по судорожным скачкам, которые он совершал, пробираясь вдоль изгороди, можно было понять, что Вовчик на пределе. Он давно уже завязал и ни за что б по новой на «работу» не подписался, да обстоятельства заставили.

...Отец, когда вернулся Вовчик из колонии, сперва все пытался пристроить его к своему неводу, но больно уж нажимал – не любил Вовчик работать из-под палки, вот у них и не зала- дилось. А как застукал сына на первой новой краже – избил до полусмерти и выгнал из дома.

Семь лет он близко к Байкалу не подходил – поклонялся сперва немного по России и осел в Старгороде около рыбаков – единственное, что любил и умел с детства, была рыбац- кая работа. И все, казалось, образумится – приняли его в артель, трудовую оформили, и уже жениться собрался, купил своей кольцо-бочоночек обручальное, да сорвался, душа не выдер- жала – вымел из дома все, что под руку попало, и загулял, а как вернулся прощения просить, баба обманула – заперла пьяного в избе и вызвала милицию.

После второй ходки, после пяти лет чердынского лесоповала только Колька да Витек Железновы его и приветили – Поозерье сиволапое отвернулось от чужака. Братья же в душу не лезли, вопросов не задавали – Колька выделил место в сараюшке, и за то ему Вовчик при- знателен был – за обоих братьев в огонь и в воду готов был идти.

Так и спал на сетях, на старом одеяле, и иногда, когда Витька уезжал в дальние рейсы, а Колька в Озеро, когда неведомому становилось одному слоняться по деревне, шел Вовчик к Павлу Ивановичу, к Фрицу, как за глаза его звали в Поозерье.

К Фрицу из слободских никто не заглядывал, но и он к ним никогда не навещался, в баню в город ездил мыться, не хотел ни у кого одалживаться. Поозеры его не любили, но и он им той же монетой платил, даже с дядькой своим Арсентием здоровался сквозь зубы.

Отучился Фриц на художника в Ленинграде, вернулся домой, купил за бесценок камен- ный поповский домик около монастыря у самой дороги у поворота на Поозерье, подлатал его, поправил крышу и зажил бобылем.

Только одиночество его было показное, вечно у него свет до утра не потухал – ночами Павел Иванович работал или принимал заходящих гостей. Считался он реставратором, но нигде не числился, с музейными, что поставляли ему работу, разговаривал всегда сдержанно, почти презрительно, и, если б не золотые руки, давно б от него отступились. Но барышни музейные смиренно и подолгу его упрашивали-уговаривали, и в конце концов он иногда и соглашался, брал заказ и делал, надо отдать должное, так, как мало б кому и удалось. Вот и недавно предло- жили ему устроить в Николе выставку иконы, и Павел Иванович вдруг сразу согласился – чуть не ночевал там, до седьмого пота вкалывал, но работал всегда один, чужих глаз не признавал.

В основном же он больше бездельничал, и с безделья, верно, стал мастерить гусли, да жалейки, да сопели, на которых и играть-то давно забыли, отпустил себе волосищи и жил, словно монах, в церковь только никогда не ходил.

Как вечер – любил Фриц выйти на крыльцо туристов потешить. А то и того постыдней – завидит иностранный автобус, затаится у подоконника и, как стайка с фотоаппаратом потечет в Монастырь мимо его дома, высунется, и в рожок – гу-у-у! – проревет, переманит ошалев- ших иноземцев и играет им, зубы скалит, смеется, а те довольны – диво дивное сподобились лицезреть!

Не зря, наверное, поозеры его лодырем почитали – играешь хорошо, так иди концерты давай, а то – чистое увеселение для экскурсантов, бесплатное приложение к Заповеднику. Зато

молодежь с турбазы, девки с музучилища души в нем не чаяли – приходили, сидели, слушали, чай попивали – водку Фриц не признавал.

А все ж было, было что-то в этом человеке, что-то особенное, отличное от всех, и Вовчик, раз к нему заглянув, стал нахаживать. На людях Фриц был сдержанный, почти суровый, словно обижен на кого-то. Гусли с полки брал, когда его как следует попросят, но, уж на колени поставив, не отпускал долго, играл взахлеб, без остановки – Вовчик в таких случаях всегда устраивался понезаметней – слушал. Павел Иванович никогда его не гнал, если Вовчик трезвый, а пьяного на порог не пускал.

И было дело однажды – поддал Вовчик, и, один оказавшись, побрел к Фрицу, и прямо с порога, скорей, чтоб настрой не потерять, начал просить прощения, что пьян, и накатило на него, такая вдруг к себе жалость проснулась... Но Фриц слушать не стал, посмотрел исподлобья и сказал, как отрезал: «Иди, парень, прочь, проспишь, как следует, мне твои жалобы времени нет слушать!»

И если б кто другой такое себе позволил, наверное, завелся б Вовчик не на шутку, а вот на Фрица поганого не поднялась рука. И стало ему тогда невыносимо на душе, и муторно, и стыдно, и противно, и пошел и правда прочь, пошел в город, набрел на Маруську Будулаеву, на цыганочку, что самая оторва на всю Слободку считалась, даже городскую известность имела. И что-то она такое сказала, и налила, и пожалела, и... семь раз воевал с Марушкой в ту ночь незабвенную Вовчик, и пела победно пружинная кровать, и почувствовал он себя рядом с Марушкой первый раз в жизни настоящим мужиком, и... не забывается такое, и чем за такое платить, как не лаской?

С той поры и пошло у них. Не как с первой дело пошло – то ли Вовчик поумнел, а скорей Маруська умела им руководить, не руководивши никак – и выпить ему давала, и отпускала на все четыре стороны – знала, что прибежит, а он и бежал, всегда к ней бежал.

Тут и письмо от матери пришло, известило, что умер отец и что ждет она не дожидется своего Вовочку домой. Маруська после письма сама первая стала подбивать – давно из Старгорода мечтала уехать – отчим с матерью ее только костерили всю жизнь да работать с малолетства заставляли – отчим же как мать взял, вмиг целую ораву голозадых наклепал.

– Они, Вовчик, только и знают, что деньги копить, – жаловалась Маруська, – раньше все ездил старье да железяки скупал, теперь водкой по ночам приторговывает, а куда все девается, как в яму бездонную, – на кой они тогда и деньги, если не погулять?

Здесь Вовчик ее хорошо понимал, деньги – пустое, сегодня они есть, завтра их нет, не в деньгах ведь счастье, да только оказалось, что и без них никуда. И хотя Маруська подговаривала бежать срочно, все бросив, как оно есть – ей теперь с мужиком и не страшно было, но Вовчик не мог. Права не имел он, как простой фрайер, как последний бич, свалиться на голову матери и братьям, без денег, без приличной одежки, без подарков. Нет, тут существовал обычай: он хотел явиться во всей красе, чистеньким, а значит, при деньгах – такого бы все вновь полюбили, простили бы молодые грехи, как всегда прощали, – мало ли кто из баргузинских посидел в тюрьмах?

И сейчас, идя на дело, он презирал себя лишь за то, что связался с Окурком, с наипостыднейшим бичом, без роду без племени, возникающим к лету в Старгороде и исчезающим с холодами, промышляющим бутылками на берегу, человеком, на которого Вовчик бы и глядеть не стал, кабы не его малый, почти детский рост и худоба, годящиеся для дела. Да, если по совети, то и на дело не пошел бы Вовчик никогда, ведь и в артели за лето мог бы он прилично накопить для Баргузина, но унижаться, просить директора колхоза, бригадира, чтоб снова взяли в соймы, – такого себе он позволить не мог – хватит, наунижался за свои двадцать шесть лет, погнул на других спину. И зло на людей не последнюю сыграло роль – толкнуло на дело: зло да деньги, посуленные неожиданно тем, на кого б сперва ни за что не подумал...

– Давай, давай, доходяга, – бросил он через плечо еле поспевающему за ним Окурку. – Работать, падло, даже здесь надо.

Сам он никогда не бичевал, только вот сейчас, в последний год, вернувшись из зоны, но поскольку все же кое-где урывал куски, то не мог себя посчитать, даже в мыслях сравнить себя не мог с этой шакальей породой.

– Давай, давай, мать твою в дышло, – погнал он Окурка уже впереди себя, и тот засеменял, засеменял безмолвно, боязливо опустив плечи.

– Скорей, скорей, – шептал срывающимся голосом Вовчик. Дело уже сидело в нем, он жил сейчас только им, и этот послушный, но немощный напарник его раздражал, и, казалось, из-за него-то все и сорвется в самый ответственный момент. Но из воровского суеверия он отказывал себе в думах о провале, весь напряженный, как хороший жеребец перед стартом – были бы удила, он, наверное, вмиг бы их перетер.

И наконец-то – тихо, не скрипнув, проползли они по ступенькам, поднялись на галерейку. Так же тихо, без единого шороха, без скрипа, без треска подалась ставня с оконца, соскочила прямо в руки, и вот Окурочек исчез в церкви, включил фонарик и, спустя пять минут, уже подавал Вовчику завернутые в тряпки, упрятанные в мешок две большие иконы.

– Те взял, не напутал? – шепотом спросил Вовчик.

– Те, те самые, они у стены стояли снятые, я... – зачастил было Окурочек, протискиваясь на волю, но Вовчик резко оборвал его:

– Гляди, спутал если – крышка тебе.

Он не то чтоб пугал, он был уверен, что бич не ошибся, но надо было, необходимо было обозначить сейчас свое главенство. Бросив ставню ненавешенной, так же бесшумно, как вошли, они проскользнули по ступенькам вниз и, озираясь по сторонам, побежали к недалекой ограде.

– Спят, парень, спят, – сам себя успокаивая, давясь сквозь всхлипы прокуренных легких, выдавил бич, когда они на секунду остановились у большой, еще помещицкой липы.

– Ладно, пронесло вроде, – мрачно подытожил Вовчик. – Давай по воде, да перцем присыпь – собакам, падлам, чтоб нюх отбило.

Он без оглядки припустил по кромке болотины, стараясь поменьше чавкать сапогами, а Окурочек засуетился за спиной, рассыпая перец, и вскоре догнал его. Испугавшись чего-то, он бежал быстро и шумно, за что незамедлительно сподобился тычка в зубы, но проглотил его и пошел за своим командиром, попритихший, тщательно ставя ноги в намокших офицерских ботинках след в след. Окурочек привык к побоям, мокроте, стуже настолько, что почти не обращал на них внимания, лишь больше сутулился да ниже пригибался к грязной земле.

Они вышли на лужок, и, зачистив по высокой траве, вскоре очутились у стен Монастыря. Вовчик на секунду замер, вглядываясь во Фрицевы окна, но там свет не горел, да и вокруг не было ни души, и, что удачно, дверь в кочегарку, летом бездействующую, была приоткрыта. Вовчик заглянул внутрь и, не найдя там ничего опасного, зашел, приказав Окурку стоять на стреме. Старичок покорно пожевал губами и сел возле двери, полагая, что так меньше привлечет чье-либо внимание.

Спустя недолгое время появился освободившийся от мешка Вовчик. Он был подозрительно весел и вертел в руках увесистый целлофановый пакет.

– Пошли, доходяга, – шепнул он на ходу, и скоро они уже сидели в старом фургончике за наспех сколоченным столом, словно час назад и не выходили отсюда.

– А знаешь, я было испугался, – признался он Окурку. – Захожу в кочегарку – тихо, и вдруг как застонет кто-то из-за печки. Подошел – Бутыла. Тоже бич, навроде тебя, как напьется, так домой не идет, у своих печей долбанных отсыпается. Лежит, ну мертвяк краше, челюсть откатил – сопит. Потрогал я его, потолкал – мертвяк и есть, они вчера на станции «БФ» покупали в хозмаге, вот его и склеило.

– А деньги-то, ты говорил, оставил? – нетерпеливо перебил Окурок.

– Деньги, не бойсь, деньги, как в банке, шеф порядок любит. – Вовчик достал из кармана мятую пачку, и при свете фонарика быстро разметал ее на две кучки – по пять сотен, как сговаривались.

Окурок тут же пересчитал долю и запрятал куда-то на теле, в ему одному ведомый закуток.

– Как уйду, деньги перепрячь, – наказал Вовчик, небрежно сгребая бумажки. – А сейчас – давай за удачу.

Он свинтил голову бутылке, оказавшейся в целлофановом пакете, большим рыбобороздочным ножом накромсал луковицу и хлеб и разлил водку по кружкам.

– Ну, давай. – Вовчик опрокинул кружку, крикнул и захрустел луковицей. Зажевав, он вынул из мешка непечатую бутылку и поставил ее на стол.

– Держи, халява, это тебе с барского стола, и чтоб как уговаривались – две недели никуда. Бичуй, как бичевал, бутылки собирай, а ноги не дай Бог сделаешь – из-под земли выну.

Он взял ржавый ножик и картинно воткнул его в стол.

– Смотри же, – напомнил еще раз от двери.

– О говореном говорить не будем, – вяло откликнулся Окурок. Он уже захмелел и, казалось, погрузился в свои бродяжьи думы.

– Гляди, я днем зайду, проверю – чтоб здесь был, а потянут – сам знаешь, что сказать. Они на туристов подумают – не дорос ты вроде до Николиных досок.

Вовчик вышел из фургона и зашагал к реке, к Колькиной лодке. Петр и Павел – рыбацкий день, и времени до праздника оставалось достаточно, а уж там он своего не упустит, к восьми самое позднее и подкатит. Но сейчас он спешил к Маруське, та, верно, заждалась – обещался ведь ей прийти. Вот и придет, и выложит ей полторы тысячи кровные, и схоронит их баба, и поедут они потом в Баргузин, подальше от проклятого сиволапого Поозерья.

Он оттолкнулся шестом от берега, погреб немного веслом, чтоб не наводить шороху в деревне, и уже на фарватере запустил мотор. От толчка Вовчика кинуло в корму, лодка заплясала, но он уверенно навел ее на цель – на Цыганскую слободу, где ждала его Маруська и всего небось уже в сердцах изматерила.

– Ниче, то-то обрадуется, – сказал себе под нос Вовчик и хмыкнул довольно в отпущенные для форсу щетинистые сивые усы.

Окурок тем временем очнулся от раздумий, куда-то сбегал ненадолго, видно, прятал в заранее подготовленное местечко большие свои деньги, и, вернувшись, откупорил бутылку, и разом отмахнул половину, а другую, запечатав, припрятал на утро в сене и, ни на что уже не глядя, повалился на лежак и уснул.

Ночь меж тем только готовилась отступать. Тучи по-прежнему висели над землей. Где-то в Слободке прокричал первый, шальной петух. Ветерок нагнал туману, и, окутанный им, утонул фургончик, слился с дамбой, словно и не было его.

3

Сергея проснулся среди ночи от кошмара – снились иконы, две проклятые иконы, за которыми он и ехал в Старгород. В общем вагоне было душно, пьяный сосед, свесив ногу с полки храпел так, что было не до сна. Он вышел в тамбур, закурил. Поглядел в темень за окном, послушал тарахтенье колес – послушал и помотался вместе с ними: вправо-влево-вправо-влево-вправо-влево. Кривая нога словно была создана для качки – держала тело, лишь особо сильные рывки заставляли скидывать руки и отжиматься на стенках, и только колеса противно тянули, как Сенька – «Ма-ма-ма-маа-маа», трясло нутро, и Сенька вставал перед глазами.

...Сенька – двоюродный брат, сын тети Сони, был двумя годами старше Сереги. Он носил настоящий «парабеллум», правда без обоймы, но найти такой никому еще не удавалось. Простого оружия в лесу была прорва – заржавленное, с заклинившими затворами, оно, как и прочие военные железки, служило надежной подкормкой – раз, два раза в неделю приезжал на телеге Цыган, забирал железо и давал взамен сладкие, посыпанные настоящим сахаром подушечки с кислым вареньем внутри – большую по тем временам роскошь.

На них играли в секу самодельными картами, и Сенька, самый удачливый, всегда выигрывал. Но долго жмотничать он не умел, раздавал награбленное назад, и они опять играли или догрызали конфетки и отправлялись на новые поиски – Цыган наезжал бесперебойно.

В лес, правда, отваживались ходить только старшие близнецы Железновы – Колька с Витькой да бесстрашный Сенька – в лесу легко было напороться на мину. Серега собирал железо по обочинам, а потому приносил меньше всех, боялся. Боялся и не скрывал этого.

Труслив он был с рождения – к отцу в сойму его, было, силком не затащишь, и хотя он умел плавать, но купался редко и всегда отдельно от других мальчишек. Он по-своему любил Озеро – днями пролеживал в траве за деревней, следил за полетом шмелей или, подкравшись в камышах к уткам, мог бессчетное время простоять в воде, наблюдая за их кормежкой, и тихо, не вспугнув птиц, уходил, весь синий, промокший и довольный. Птицы были его тайной страстью – одному Вовке он открылся, признался, что понимает их нехитрый язык, понимает с самого, наверное, рождения, когда, лежа в старой карнауховской колыбели и разглядывая вырезанную на спинке тетерку-берегиню, даже с ней умудрялся разговаривать на непонятном взрослым языке.

– И что он лопочет? – изумлялся отец. – Зинка, может, он у нас немтырь? Парню два года с половиной, а он «папа-мама» не скажет – стрекочет себе по-птичьему.

– Ты бы пил больше, – огрызалась мать. – Говорят, с этой водки более всего дети страдают.

Она брала Серегу на руки и убаюкивала. Он засыпал, и во сне видел свою тетерочку, и с ней разговаривал, разговаривал...

Первое его слово было: «Чайки!» Мать вывела его на берег, и он, увидав кружившихся у подходящих к берегу сойм озерных побирушек, потянулся ручонкой и сказал громко и внятно: «Чайки!» Мать чуть на землю не села от испуга. С того дня он начал говорить сразу фразами, легко, ведь слова давно в нем сидели, он только ленился их произносить. Куда как приятней было кричать по-птичьему, передразнивать сороку, пугать до смерти кур или подзывать озерных чаек. С ними он легко сдружился и, когда никто не видел, подзывал их, и птицы слетались, садились на песок, глядели сперва недоверчиво, но бочком, бочком подбирались к мальчишке, давали себя гладить, брали рыбу, что он таскал для них из рыбацких ящиков.

Раз, правда, ему досталось – дед Алексей Платонович, всегда к нему добрый, застал Серегу с чайками и почему-то отчитал. Дед тогда заругался, сказал, что чайки – дуры, попро-

шайки и кормить их – пустое дело, что воду в песок лить, взял его за руку, отвел к себе в избушку, посадил слушать Библию.

Только Сенька один его понимал и даже завидовал его умению. С Сенькой они ходили глядеть птиц, и тогда Серега преображался, начинал командовать, даже ругался, если брат полз слишком громко, слишком хрустко ступал, и они замирали на опушке или на бережку, и Сенька шепотом спрашивал: «А что он сказал? А что она ответила?» И Серега переводил. Это и была их совместная тайна.

И вот однажды они забрались в Никольский карьер к ласточкам. Птицы облюбовали глинистый обрыв, нарыли в нем нор и сновали взад-вперед, прилетая с кормом и улетаая за ним в поднебесье. Сперва они смотрели на них, а после Сенька загорелся достать ласточонка и, как ни отговаривал, как ни молил его Серега, полез по обрыву, запустил руку в дырочку лаза и чуть было не достал, но сорвался, поехал по глине и – невредимый и веселый – уже кричал снизу, звал к себе – на что-то он там наткнулся интересное.

Сенька стоял на коленях и рыл, только глина летела из-под ног, и Серега не стерпел, съехал вниз, и... Сенька уже держал в руках тяжеленный артиллерийский снаряд. В песке, на самом дне ямы, блестели еще хищные, остроносые головки, и рядом валялась доска с колючими немецкими буквами от снарядного ящика.

Сенька сразу принялся подсчитывать, сколько запросит с Цыгана за такое богатство. Он не обращал внимания на Серегини причитания и, вконец разозлившись, даже замахнулся на него рукой: «Не хочешь – вали, я сам перетаскаю, маменькин сынок...» – он оттолкнул Серегу, поднял снаряд и попер его к дороге.

Снаряд был, наверное, пудовый – не десятилетними руками такой таскать, но Серега, словно окаменел от страха, бежал впереди, шагах в десяти, боясь даже предложить свою помощь – да гордый Сенька бы и не дал.

А после – ударило от земли, и его подняло и швырнуло в обочину, мордой прямо в крапиву, и он заорал, и вскочил, и тут же упал – ноги не слушались, голова шла кругом, и гул стоял в ушах, и где-то рядом кричал Сенька, кричал надсадно, на одной ужасной ноте, беспрестанно, не прерываясь ни на секундоочку: «Ма-маа-маа-ма-маааа...» И он наконец очнулся и увидел: Сенька извивался в пыли, в яме, что разворотил снаряд. От него осталась ровно половина, и эта кроваво-сизая половина еще мычала, еще звала, а Серега, все поняв, пополз вперед, вперед по дороге, цепляясь руками за землю, и плача, захлебываясь от пыли и слез, и совсем не чуя боли, но не чуя и ног. Он только раз взглянул на них и, увидев, затрясся от страха, от жалости к ним, к себе, но продолжал ползти, нутром чуя, что иначе нельзя, иначе – смерть. Он полз, оставляя за собой кровавую полосу, пока не увидел телегу и на ней Цыгана. Цыган заметил его, скатился с телеги, поднял, и ласкал, и причитал от испуга по-цыгански, разодранной рубахой наспех бинтуя тело и ноги, и завернул потом в брезент – Серегу начал бить озноб, – и погнал в город, в больницу. Серега мотался в телеге, а Цыган яростно избивал коня, и, тарахтя и пыля по большаку, они летели, но Серега не слышал ничего, кроме Сенькиного крика: «Ма-маа-ма-маааа...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.